

Письма о патриотизме

К ТОВАРИЩАМ

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА РАБОЧИХ ЛОКЛЯ и ШО-ДЕ-ФОНА.

Письмо первое

Друзья и братья!

Прежде чем покинуть ваши горы, я чувствую потребность еще раз выразить вам письменно мою глубокую благодарность за сделанный мне вами братский прием. Разве не удивительно, что какой-то человек, русский, бывший дворянин, которого вы до последнего времени совершенно не знали и чья нога в первый раз ступила на вашу землю, тотчас же по своем прибытии был окружен несколькими сотнями братьев! Подобное чудо в настоящее время может быть осуществлено лишь Международным Обществом Рабочих, и это по простой причине: оно одно теперь являет собой историческую жизнь и творческую мощь политического и социального будущего. Те, кого объединяет живая мысль, живая воля и великое общее стремление, являются действительно братьями, даже если они незнакомы друг с другом.

Было время, когда буржуазия, обладая такой же жизненной мощью и являясь единственным историческим классом, представляла подобное зрелище братства и единения, как в действиях, так и в мыслях. Это было лучшее время этого класса, без сомнения, всегда почтенного, но отныне бессильного, тупого и бесплодного, эпоха его самого энергичного развития. Такова была буржуазия до великой революции 1793 года; таковой была она еще, но в меньшей мере, до революции 1830 и 1848 года. Тогда пред буржуазией был целый мир для покорения, она должна была занять место в обществе, и, организованная для борьбы, умная, смелая, чувствуя себя сильной правом всех, она обладала непреодолимым всемогуществом; она одна совершила три революции против соединенных сил монархии, дворянства и духовенства.

В то время буржуазия тоже создала всемирную, могучую международную ассоциацию: Франк-Масонство.

Очень ошибся бы тот, кто судил бы о Франк-Масонстве прошлого века или даже начала этого века по тому, чем оно является теперь. Учреждение по преимуществу буржуазное, Франк-Масонство, в своем растущем могуществе сначала и потом в своем упадке, было как бы выражением интеллектуального и морального развития, могущества и упадка буржуазии. В настоящее время, спустившись до печальной роли старой интриганки и болтуни, оно ничтожно, бесполезно, иногда вредно и всегда смешно, между тем как до 1830 и в особенности до 1793 года оно соединяло в себе, за малым числом исключений, все выдающиеся умы, самые пылкие сердца, самые гордые воли, самые смелые характеры и представляло собой деятельную, могучую и истинно полезную организацию. Это было мощное воплощение и осуществление на практике гуманитарных идей XVIII века. Все великие принципы свободы, равенства, братства, человеческого разума и справедливости, выработанные теоретически философией этого века, сделались в среде Франк-Масонства практическими догматами и как бы основами новой морали и новой политики — душой гигантского предприятия разрушения и воссоздания. Франк-Масонство было в то время не более, не менее, как всемирным заговором революционной буржуазии против феодальной, монархической и божеской тирании.

Это был Интернационал буржуазии.

Известно, что все главные деятели первой революции были Франк-Масонами и что, когда эта революция разразилась, она встретила благодаря Франк-Масонству друзей и преданных, могущественных союзников во всех других странах, что, конечно, сильно помогло ее торжеству. Но так же очевидно, что торжество революции убило Франк-Масонство, ибо после того, как революция в значительной мере выполнила пожелания буржуазии и поставила ее на место родовой аристократии, буржуазия, бывшая долгое время утесняемым и эксплуатируемым классом, естественно, сделалась, в свою очередь, классом привилегированным, эксплуататорским, притесняющим, консервативным и реакционным, сделалась другом и самой надежной поддержкой государства. После захвата власти первым Наполеоном Франк-Масонство сделалось в большинстве стран Европейского континента императорским учреждением.

Реставрация его отчасти воскресила. Буржуазия, видя угрозу возвращения старого режима, вынужденная уступить церкви и дворянству место, завоеванное ею в первую революцию, принуждена была снова сделаться революционной. Но какая разница между этим подогретым революционаризмом и горячим, могучим революционаризмом, вдохновлявшим ее в конце прошлого столетия! Тогда буржуазия была искренна, она серьезно и наивно верила в права человека, ее двигал, вдохновлял гений разрушения и обновления, она была в полной силе ума и в полном развитии сил; она еще не подозревала, что бездна отделяет ее от народа; она себя считала, чувствовала и действительно была представительницей народа. Реакция термидора и заговор Бабефа навсегда лишили ее этой иллюзии. Бездна, разделяющая рабочий народ от эксплуатирующей, властвующей и благоденствующей буржуазии, открылась, и, чтобы заполнить эту бездну, понадобится весь класс буржуазии, целиком, все привилегированное существование буржуа. Поэтому не вся буржуазия в ее целом, а только часть ее возобновила после реставрации заговорщицкую деятельность против дворянского, клерикального режима и законных королей.

В следующем письме я разовью вам, если вы мне позволите, свои мысли относительно последней фазы конституционного либерализма и буржуазного карбонаризма.

Женева, 23 февраля 1869 г. — Le Progres, № 6 (1 марта, 1869 г.).

Письмо второе

Я сказал в предыдущем письме, что реакционные, легитимистические, феодальные и клерикальные попытки пробудили снова революционный дух буржуазии, но что между этим новым духом и телом, который одушевлял ее до 1793 года, была громадная разница. Буржуа прошлого столетия были гигантами, в сравнении с которыми самые смелые из буржуа этого столетия кажутся лишь пигмеями.

Чтобы в этом убедиться, надо только сравнить их программы. Какова была программа философии и великой революции XVIII столетия? Не более, не менее, как полное освобождение всего человечества; осуществление для каждого и всех права и действительной и полной свободы путем всеобщего политического и социального уравнивания; торжество человечности на развалинах божеского мира; царство свободы и братства на земле. Ошибкой этой философии и этой революции было непонимание, что осуществление человеческого братства невозможно, пока существуют государства, и что действительное уничтожение классов и политическое, и социальное уравнивание индивидов возможны не иначе, как при уравнивании для всех и каждого экономических средств, воспитания, образования, труда и жизни. Тем не менее было бы несправедливо упрекать XVIII век за то, что он этого не понял. Общественные науки не создаются, не изучаются с помощью одних книг; они нуждаются в великих уроках истории, и надо было совершить революцию 1789 и 1793 годов, надо было повторить опыт 1830 и 1848 годов, чтобы прийти к этому, отныне несокрушимому заключению, что всякая политическая революция, не ставящая себе немедленной и прямой целью экономическое равенство, является, с точки зрения народных интересов и прав, не чем иным, как лицемерной и замаскированной реакцией.

Эта столь очевидная и простая истина была еще неизвестной в конце XVIII столетия, и, когда Бабеф выдвинул экономический и социальный вопрос, сила революции была уже исчерпана. Тем не менее этой последней принадлежит бессмертная честь провозглашения самой великой цели из всех когда-либо поставленных в истории — освобождение всего человечества в его целом.

Какую же цель преследует в сравнении с этой громадной программой программа революционного либерализма в эпоху Реставрации и Июльской монархии? Пресловутую благоразумную свободу, очень скромную, очень упорядоченную, очень ограниченную, приносившую как раз к ослабевшему темпераменту полунасыщенной буржуазии, которая, уставши от борьбы и ощущая нетерпение начать благоденствовать, уже чувствовала для себя угрозу не сверху, но снизу и с беспокойством видела появление на горизонте черной массы бесчисленных миллионов эксплуатируемых пролетариев, уставших терпеть и готовящихся потребовать своих прав.

С начала настоящего столетия этот рождающийся призрак, названный позже красным призраком, этот ужасный призрак права всех, противоположного привилегиям класса счастливых, эта народная справедливость и народный разум, которые при своем дальнейшем развитии должны обратить в прах софизмы буржуазной экономики, юриспруденции, политики и метафизики, становятся посреди современных триумфов буржуазии помехою ее счастью, ослабляют ее уверенность, ее ум.

А ведь при Реставрации социальный вопрос был еще почти неведом или, лучше сказать, забыт. Было несколько отдельных великих мечтателей, как Сен-Симон, Роберт Оуэн, Фурье, гениальный ум которых или великие сердца отгадали необходимость радикальной переработки экономической организации общества. Вокруг каждого из них группировалось малое число пылких и преданных учеников, составляя как бы несколько небольших церквей, но они были столь же неизвестны, как их учителя, и не имели никакого влияния на окружающий мир. Было еще коммунистическое завещание Бабефа, переданное его знаменитым товарищем и другом, Буонаротти, наиболее энергичным пролетариям посредством тайной народной организации. Но тогда это было еще подпольной работой, проявление которой дало себя почувствовать только позже, при Июльской монархии; во время Реставрации она совершенно не была замечена буржуазным классом. Народ, рабочие массы оставались спокойными и ничего еще для себя самих не требовали.

Ясно, что если боязнь народной справедливости имела в эту эпоху какое-либо существование, то она могла жить лишь в нечистой совести буржуа. Откуда явилась эта нечистая совесть? Или буржуа, жившие при Реставрации, были, как индивиды, более злыми, чем их отцы, сделавшие революции 1789 и 1793 года? Нисколько. Это были почти одинаковые люди, но только поставленные в другую среду и другие политические условия, обогащенные новой опытностью и, следовательно, имеющие другую совесть.

Буржуа прошлого столетия искренно верили, что, освобождая самих себя от монархического, клерикального и феодального ига, они освободят вместе с собой весь народ. И это наивное, искреннее верование и было источником их геройской смелости и их невероятной мощи. Они чувствовали свое единение со всеми и шли на приступ, неся в себе силу и право для всех. Благодаря этому праву и этой народной мощи, которая, так сказать, воплотилась тогда в классе буржуазии, буржуа прошлого столетия могли овладеть крепостью политического права, составлявшей предмет вождения их отцов в продолжение стольких столетий. Но в то мгновение, как они водрузили на ней свое знамя, новый свет озарил их ум. Как только они завоевали власть, они начали понимать, что между их буржуазными интересами и интересами народных масс нет ничего общего, что, напротив, между ними есть радикальное противоречие и что могущество и исключительное процветание класса собственников могут опираться лишь на нищету и политическую и социальную зависимость пролетариата.

С тех пор отношения между буржуазией и народом коренным образом изменились, и еще раньше, чем рабочие поняли, что буржуа, более по необходимости, чем по злой воле, являются их естественными врагами, буржуа уже достигли сознания этого фатального антагонизма. Это-то сознание я и называю нечистой совестью буржуа.

Письмо третье

Нечистая совесть буржуа, сказал я, парализовала с начала столетия все интеллектуальное и моральное движение буржуазии. Я делаю поправку и заменяю слово парализовала словом извратила. Ибо было бы неправильно обозвать параличным тот ум, который, перейдя от теории к приложению позитивных наук, создал все чудеса современной промышленности, пароходы, железные дороги и телеграф; который, с другой стороны, открыл новую науку — статистику, и, доведя политическую экономию и историческую критику развития богатства и цивилизации народов до их последних выводов, положил основание новой философии — социализму, являющемуся с точки зрения интересов буржуазии не чем иным, как великодушным самоубийством, отрицанием всего буржуазного мира.

Паралич наступил лишь позже, с 1848 года, когда буржуазия, испуганная результатами своих прежних работ, сознательно бросилась назад и, отрекшись, ради сохранения своих богатств, от всякой мысли и всякой воли, подчинилась военным покровителям и отдалась душой и телом самой полной реакции. С этого времени она более ничего не изобрела, она потеряла вместе со смелостью и творческую мощь. У нее даже нет больше инстинкта самосохранения, ибо все, что она делает для своего спасения, фатально толкает ее в бездну.

До 1848 года она была еще в полной силе духа. Правда, этот дух уже не обладал той жизненной силой, с помощью которой в период от XVI до XVIII века он создал целый новый мир. Это уже не был героический дух класса, который обладал всеми дерзновениями, ибо должен был все завоевать: теперь это был благоразумный и рассудительный дух нового собственника, который, приобретая горячо желанное имущество, должен теперь заботиться о его процветании и ценности. Характерной чертой буржуазного духа первой половины этого столетия является почти исключительно утилитарная тенденция.

Буржуазию в этом упрекали, и упреки эти несправедливы. Я, напротив, думаю, что буржуазия оказала человечеству последнюю великую услугу, проповедуя гораздо больше собственным примером, чем теориями, культ или, лучше сказать, уважение к материальным интересам. В сущности, эти интересы всегда имели в мире преобладающее значение; но раньше они маскировались под вид лицемерного и нездорового идеализма, который именно и делал их зловердными и отталкивающими.

Тот, кто хоть немного занимался историей, не мог не заметить, что в основе самых абстрактных, высоких и идеальных религиозных и теологических распрей всегда был какой-нибудь крупный материальный интерес. Все расовые национальные, государственные и классовые войны никогда не имели другой цели, кроме владычества, являющегося необходимой гарантией и условием обладания богатствами и пользования ими. Человеческая история, рассматриваемая с этой точки зрения, является не чем иным, как продолжением великой борьбы за существование, составляющей согласно Дарвину основной закон органической природы.

В животном мире эта борьба происходит без идей и без фраз, и ей нет разрешения; пока земля будет существовать, животные будут пожирать друг друга. Это естественное условие жизни животных. Люди, животные плотоядные по преимуществу, начали свою историю с людоедства. Теперь они стремятся к всемирной ассоциации, к коллективному производству и потреблению.

Но между этими двумя крайними точками какая кровавая и ужасная трагедия! И конец этой трагедии еще не настал. После людоедства наступило рабство; после рабства крепостное право; после крепостного права наемный труд, за которым должны последовать, во-первых, страшный день возмездия, а затем позже, много позже, эра братства. Вот фазы, чрез которые проходит животная борьба за жизнь в истории, постепенно преобразуясь в человеческую организацию жизни.

И среди этой братоубийственной борьбы людей против людей, в этом взаимном пожирании друг друга, в этом рабстве и этой эксплуатации одних другими, которые, меняя название и формы, тянулись непрерывно из века в век до наших дней, какую роль играла религия? Она всегда освящала насилие и обратила его в право. Она перенесла человечность, справедливость и братство на фиктивное небо, чтобы оставить на земле царство несправедливости и грубой силы. Она благословляла счастливых бандитов, и, чтобы сделать их еще счастливее, она проповедовала их бесчисленным жертвам, народам, покорность и послушание. И чем выше и прекраснее казался идеал, которому она поклонялась на небе, тем действительность на земле становилась ужаснее. Ибо в природе всякого идеализма, как религиозного, так и метафизического, заложено презрение к реальному миру, и, презирая его, он вместе с тем его эксплуатирует, откуда вытекает, что всякий идеализм необходимо порождает лицемерие.

Человек — материя и не может безнаказанно презирать материю. Он — животное и не может уничтожить свою животность; но он может и должен ее переработать и очеловечить через свободу, т. е. посредством комбинированного действия справедливости и разума, которые, в свою очередь, могут иметь влияние на нее только потому, что они являются ее продуктом и высшим выражением. Напротив того, всякий раз, когда человек хотел отвлечься от своей животности, он становился ее игрушкой и рабом, а чаще всего даже лицемерным служителем, свидетельством чему служат священники самой идеальной и самой нелепой из религий — католицизма.

Сравните их хорошо известную безнравственность с их обетом целомудрия; сравните их ненасытную жадность с их учением об отречении от благ сего мира и согласитесь, что не существует больших материалистов, чем эти проповедники христианского идеализма. Даже сейчас какой вопрос волнует всего больше церковь? Вопрос о сохранении своего имущества, угрожаемого повсюду теперь конфискацией со стороны государства, этой новой церкви, являющейся выражением политического идеализма.

Политический идеализм не менее нелеп, не менее вреден, не менее лицемерен, чем идеализм религиозный, коего он является лишь разновидностью, лишь светским и земным выражением или проявлением. Государство — это младший брат церкви; а патриотизм, эта государственная добродетель, этот культ государства, является лишь отражением

божественного культа.

Добродетельный человек согласно предписаниям идеальной, религиозной и политической школы должен служить Богу и жертвовать собой ради государства. И вот эту-то доктрину буржуазный утилитаризм с начала этого столетия и стал оценивать по достоинству.

Женева, 14 апреля 1869 г. — Le Progres, № 8 (17 апр. 1869 г.), стр. 2-3.

Письмо четвертое

Одной из величайших заслуг буржуазного утилитаризма было, как я уже сказал, убийство религии государства, убийство патриотизма.

Патриотизм, как известно, добродетель мира античного, рожденная среди греческих и римских республик, где в действительности никогда не было другой религии, кроме религии государства, другого предмета поклонения, кроме государства.

Что такое государство? Метафизики и гористы отвечают нам, что это общественная вещь; интересы, общее благо и право всех в противоположении разлагающему действию эгоистичных интересов и страстей каждого. Это справедливость, и осуществление морали и добродетели на земле. Следовательно, для индивидов не может быть более высокого подвига и более великой обязанности, как жертвовать собой и, в случае нужды, умереть ради торжества, ради могущества государства.

Вот в немногих словах вся теология государства. Посмотрим теперь, не скрывает ли эта политическая теология, так же как и теология религиозная, под очень красивой и поэтической внешностью очень обыденную и грязную действительность.

Проанализируем сперва самую идею государства, такую, какой нам ее представляют ее восхвалители. Это пожертвование естественной свободой и интересами каждого, как индивида, так и сравнительно мелких коллективных единиц — ассоциаций, коммун и провинций, — ради интересов и свободы всех, ради благоденствия великого целого. Но это все, это великое целое, что это такое в действительности? Это совокупность всех индивидов и всех более ограниченных человеческих коллективов, которые его составляют. Но раз для того, чтобы его составить, нужно пожертвовать всеми индивидуальными и местными интересами, то чем же является в действительности то целое, которое должно быть их представителем? Это не живое целое, предоставляющее каждому свободно дышать и становящееся тем более богатым, могучим и свободным, чем шире разворачиваются на его лоне свобода и благоденствие каждого; это не естественное человеческое общество, которое утверждает и увеличивает жизнь каждого посредством жизни всех; напротив того, это заклятие как каждого индивида, так и всех местных ассоциаций, абстракция, убивающая живое общество, ограничение или, лучше сказать, полное отрицание жизни и права всех частей, составляющих общее целое, во имя так называемого всеобщего блага. Это государство, это алтарь политической религии, на котором приносится в жертву естественное общество: это всепожиратель, живущий человеческими жертвами, подобно

церкви. Государство, повторяю еще раз, — меньший брат церкви.

Чтобы доказать тождество церкви и государства, я прошу читателя констатировать тот факт, что как церковь, так и государство основаны существенным образом на идее пожертвования жизнью и естественным правом и что они исходят из одного и того же принципа; принципа прирожденной порочности людей, которая может быть побеждена лишь божьей благодатью и смертью в боге естественного человека согласно церкви, а согласно государству лишь законом и закланием индивида на алтаре государства. И церковь, и государство стремятся пересоздать человека, первая в святого, второе — в гражданина. Но естественный человек должен умереть, ибо он осужден единогласно как религией церкви, так и религией государства.

Таковы в их идеальной чистоте тождественные теории церкви и государства. Это чистые абстракции; но всякая историческая абстракция предполагает исторические факты. Эти факты, как я уже сказал в предыдущем письме, реального, грубого характера: это насилие, грабеж, порабощение, завоевание. Человек так создан, что он не довольствуется тем, что делает то или другое, он чувствует потребность объяснить и оправдать перед своей собственной совестью и в глазах всего мира то, что он делает. Религия явилась, стало быть, как раз кстати, чтобы благословить совершившиеся факты, и, благодаря этому благословению, несправедливый и грубый факт превратился в право. Юридическая наука и политическое право, как известно, вначале вытекали из теологии, позже из метафизики, которая является не чем иным, как замаскированной теологией, имеющей смешную претензию не быть нелепой. Метафизика старалась, но тщетно, придать им характер науки.

Рассмотрим теперь, какую роль играла и продолжает играть в реальной жизни, в человеческом обществе эта абстракция государства, параллельная исторической абстракции, называемой церковью?

Государство, сказал я, по самой сущности своей есть громадное кладбище, где происходит самопожертвование, смерть и погребение всех проявлений индивидуальной и местной жизни, всех интересов частей, которые и составляют все вместе общество. Это алтарь, на котором реальная свобода и благоденствие народов приносятся в жертву политическому величию; и чем это пожертвование более полно, тем государство совершенней. Я отсюда заключаю, и это мое убеждение, что русская империя — это государство по преимуществу, это, без риторики и без фраз, самое совершенное государство в Европе. Напротив того, все государства, в которых народы могут еще дышать, являются с точки зрения идеала государствами несовершенными, подобно тому как все другие церкви, по сравнению с римско-католической церковью, являются неудавшимися церквами.

Государство, сказал я, это абстракция, пожирающая народную жизнь; но для того, чтобы абстракция могла родиться, развиваться и продолжать существовать в реальном мире, надо, чтобы существовало реальное коллективное тело, заинтересованное в ее существовании. Таковым не может быть большинство народа, ибо оно именно является жертвой государства: нуждаться в нем может лишь привилегированная группа, жреческое сословие государства, правящий и обладающий собственностью класс, являющийся в государстве тем же, чем в церкви является духовное сословие, священники.

И в самом деле, что видим мы в продолжение всей истории? Государство было всегда принадлежностью какого-нибудь привилегированного класса: духовного сословия, дворянства или буржуазии; наконец, когда все другие классы истощаются, выступает на сцену класс бюрократов, и тогда государство падает или, если угодно, возвышается до положения машины. Но для существования государства непременно нужно, чтобы какой-нибудь привилегированный класс был заинтересован в его существовании. И вот солидарные интересы этого привилегированного класса и есть именно то, что называется патриотизмом.

Женева, 28 апреля, 1869 г. — Le Progres, №9(1 мая 1869 г.), стр. 2-3.

Письмо пятое

Был ли когда-либо патриотизм, в том сложном смысле, который придают этому слову, народной страстью или добродетелью?

Имея в руках историю, я не колеблясь отвечаю на этот вопрос решительным нет, и, чтобы доказать читателю, что я не ошибаюсь, отвечая таким образом, я прошу у него позволения проанализировать главнейшие элементы, которые, комбинируясь более или менее различным образом между собою, составляют то, что называется патриотизмом.

Таких элементов четыре: 1) естественный или физиологический элемент; 2) экономический; 3) политический и 4) религиозный или фанатический.

Физиологический элемент является главным основанием всякого наивного, инстинктивного и грубого патриотизма. Это естественная страсть, которая именно потому, что она слишком естественная, т. е. совершенно животная, находится в жесточайшем противоречии со всей политикой и, что много хуже, сильно затрудняет экономическое, научное и гуманное развитие общества.

Естественный патриотизм, явление совершенно звериное, встречающееся на всех ступенях животной жизни и даже, можно отчасти сказать, в растительном царстве. Взятый в этом смысле патриотизм — это губительная война, первое проявление в человечестве той великой и роковой борьбы за существование, которая составляет все развитие, всю жизнь естественного или реального мира, — борьбы непрестанной, всемирного пожирания друг друга, которое питает каждого индивида, каждую породу мясом и кровью индивидов других пород и которое, фатально возобновляясь с каждым часом, с каждым мгновением, позволяет жить и развиваться самым совершенным, сильным и умным породам на счет других.

Те, кто занимается земледелием или садоводством, знают, как трудно уберечь свои посадки против паразитических видов, которые отнимают у них свет и необходимые для питания химические элементы земли. Наиболее могучее растение, которое лучше других приурочено к специальным условиям климата и почвы, развивается всегда со сравнительно большей силой и естественно стремится задушить все другие. Это молчаливая, но неустанная борьба, и нужно энергичное вмешательство человека, чтобы защитить

предпочитаемые им растения от этого нашествия.

В животном царстве продолжается та же борьба, только происходит она более драматически, с большим шумом. Здесь уже не молчаливое, незаметное задушение. Здесь течет кровь, и мучимое, раздираемое, пожираемое животное наполняет воздух криками. Наконец, человек, животное говорящее, вносит в эту борьбу первую фразу, и фраза эта называется патриотизмом.

Борьба за жизнь в растительном и животном царстве не есть лишь борьба между индивидами: это борьба между породами, группами и семействами. Во всяком живом существе есть два инстинкта, два главных интереса: питание и воспроизведение. С точки зрения питания каждый индивид является естественным врагом всех других, невзирая ни на какие связи — семейные, групповые или родовые — его с другими. Поговорка, что волки не едят друг друга, справедлива лишь до тех пор, покуда волки находят для своего питания животных, принадлежащих к другим породам; но мы знаем, что как только в этих последних ощущается недостаток, волки преспокойно пожирают друг друга. Кошки, свиньи и еще многие другие животные часто съедают своих собственных детенышей, и нет животного, которое бы этого не сделало, вынужденное голодом. А человеческие общества не начали ли с людоедства? И кто не слышал печальных историй о потерпевших крушение моряхах, которые блуждали среди океана, носясь на хрупком судне, и, будучи лишены пищи, бросали жребий, кто из них должен быть пожертвован и съеден другими. Наконец, разве мы не видели при последнем большом голоде, опустошившем Алжир, матерей, которые съедали собственных детей?

Дело в том, что голод — это жестокий и непобедимый деспот, и необходимость питаться, необходимость чисто индивидуальная, является первым законом, главным условием жизни. Это основание всей человеческой и социальной жизни, точно так же как и жизни растительной и животной. Бунт против необходимости питания равносителен отрицанию всей жизни, самоприговору к небытию.

Но наряду с этим основным законом живой природы есть и другой столь же существенный — закон воспроизведения. Первый стремится к сохранению индивидов, второй — к созданию семейств, групп и пород. Индивиды, побуждаемые естественной необходимостью, стремятся соединиться, для целей воспроизведения, с индивидами, которые по организму близки к ним, подобны им. Бывают различия в организмах, делающие совокупление бесплодным или даже невозможным. Эта невозможность очевидна между царством растительным и царством животным; но даже и в этом последнем совокупление четвероногих, например, с птицами, рыбами, пресмыкающимися или насекомыми, равным образом невозможно.

Ограничившись одними четвероногими, мы найдем ту же невозможность между различными группами и, таким образом, приходим к заключению, что возможность совокупления и воспроизведения становится реальной для каждого индивида лишь в очень ограниченном кругу индивидов, которые, будучи одарены организмом тождественным или близким к его организму, составляют вместе с ним одну и ту же группу или одно и то же семейство.

Так как инстинкт воспроизведения составляет единственную связь солидарности, могущую существовать между индивидами животного мира, то там, где эта способность прекращается, прекращается и всякая животная солидарность. Все, остающееся вне группы, в среде которой возможно для индивида воспроизведение, составляет другую породу, совершенно чуждый мир, мир враждебный и осужденный на истребление; все, что находится внутри, составляет обширное отечество породы, как, например, для людей человечество.

Но это истребление и пожирание одного живого индивида другим происходит не только за пределами того ограниченного мира, который мы назвали обширным отечеством породы. Мы находим их внутри самого этого мира и такими же свирепыми, а иногда и более свирепыми вследствие сопротивления и стеснения, которые они здесь встречают, потому что к борьбе из-за голода присоединяется столь же ожесточенная борьба из-за любви.

Кроме того, каждая порода животных подразделяется на различные группы и семейства, видоизменяясь под влиянием географических и климатологических условий различных стран, в которых она живет. Большее или меньшее различие условий жизни определяет соответственное различие в организме индивидов, принадлежащих к одной и той же породе. К тому же известно, что всякий животный индивид, естественно, стремится совокупиться с индивидом, наиболее сходным с ним, откуда, естественно, вытекает развитие большого числа видоизменений в каждой породе. А так как различия, разделяющие все эти новые виды одни от других, основаны главным образом на воспроизведении, а воспроизведение есть единственная основа всей солидарности, то очевидно, что широкая солидарность породы должна подразделяться на множество более ограниченных солидарностей и широкое отечество породы разбиваться на массу маленьких животных отечеств, враждебных и уничтожающих друг друга.

Женева 25 мая 1869 г. - Le Progres (29 мая 1899 г.), стр. 2-3.

Физиологический или естественный патриотизм

I

Я показал в своем предыдущем письме, каким образом патриотизм, как естественная страсть, вытекает из физиологического закона, а именно из закона, определяющего разделение живых существ на породы, семейства и группы.

Страсть патриотическая, очевидно страсть общественная. Чтобы найти ее яснейшее выражение в животном мире, надо обратиться к породам животных, которые подобно человеку, одарены в высшей мере общественной природой, например, к муравьям, к пчелам,

к бобрам и ко многим другим животным, обладающим общими, постоянными жилищами, а также к животным, кочующим стадами. Животные, имеющие общее, постоянное жилище, представляют с точки зрения, конечно, естественного патриотизма, патриотизм земледельческих народов, а животные, кочующие стадами, патриотизм кочевых народов.

Очевидно, что патриотизм первых полнее патриотизма последних. Этот последний выражает лишь солидарность индивидов в стаде, между тем, как первый создает еще связь индивидов с почвой и жилищем, в котором они обитают. Привычка — эта вторая натура как людей, так и животных — и образ жизни гораздо определеннее, устойчивее у животных общественных и оседлых, чем среди бродячих стад; а из этих-то особенностей в привычках и в образе жизни и составляется главный элемент патриотизма.

Естественный патриотизм можно определить так: инстинктивная, машинальная и совершенно лишенная критики привязанность к общественно принятому, наследственному, традиционному образу жизни, и столь же инстинктивная, машинальная враждебность ко всякому другому образу жизни. Это любовь к своему и к своим и ненависть ко всему, имеющему чуждый характер. Стало быть, патриотизм, с одной стороны коллективный эгоизм, а с другой стороны — война.

Такая солидарность недостаточно сильна, чтобы индивиды-члены животной общины не пожирали друг друга в случае нужды; но она достаточно сильна, чтобы индивиды, забыв междуусобие, соединялись всякий раз, как им грозит вторжение чужой общины.

Посмотрите, например, на собак какойнибудь деревни. Собаки в естественном состоянии не составляют коллективных республик; предоставленные собственным инстинктам, они живут, подобно волкам, в бродячих стадах, и только под влиянием человека обращаются в оседлых животных. Но прикрепленные к месту, они составляют в каждой деревне своего рода республику, основанную не на коммунистическом строе, а на индивидуальной свободе, согласно девизу, столь любимому буржуазными экономистами: каждый за себя и черт побери оплошавшего. У собак безграничная свобода и попустительство, конкуренция, безустанная, безжалостная гражданская война, в которой более сильный всегда кусает более слабого,— совершенно как в буржуазных республиках. Но пусть только собака соседней деревни пробежит по их улице, и вы тотчас увидите, как все эти ссорящиеся сограждане толпой бросаются на несчастного иностранца.

Не есть ли это точная копия или, лучше сказать, оригинал, ежедневно копируемый человеческим обществом? Не есть ли это самое полное проявление того естественного патриотизма, о котором я сказал и осмеливаюсь повторить, что это чисто звериная страсть? Ее звериный характер несомненен, ибо собаки бесспорно звери, а человек, будучи животным подобно собаке и другим земным животным, но только животным, одаренным физиологической способностью думать и говорить, начинает свою историю со звериного состояния и только с течением веков завоевывает и создает свою человечность.

Раз мы знаем происхождение человека, нас не должна удивлять его звериная натура, являющаяся естественным фактом в серии естественных фактов; нас не должна она и возмущать, ибо отсюда нисколько не вытекает, что против нее не надо бороться с самой

большой энергией, так как вся человеческая жизнь ничто иное, как непрерывная борьба с естественной животностью человека ради его человечности. Я хотел лишь констатировать, что патриотизм, восхваляемый нам поэтами, политиками всех школ, правительствами и всеми привилегированными классами, как высшая и идеальная добродетель, имеет корень не в человеческих, но в звериных свойствах человека.

И действительно, безраздельное царствование естественного патриотизма мы видим в начале истории, а в настоящее время в наименее цивилизованных частях человеческого общества. Конечно, в человеческих обществах патриотизм является гораздо более сложным чувством, чем в других животных обществах, по той простой причине, что жизнь человека, животного мыслящего и одаренного словом, обнимает несравненно больше предметов, чем жизнь животных других пород. К чисто физическим привычкам и обычаям в нем присоединяются еще традиции, более или менее абстрактные, интеллектуальные и моральные,— целая масса истинных или ложных представлений вместе с различными религиозными, экономическими, политическими и социальными обычаями. Все это составляет элементы естественного патриотизма человека, поскольку все эти вещи, комбинируясь тем или другим образом, создают для данного общества особую форму существования, традиционный образ жить, мыслить и действовать иначе, чем другие.

Но какова бы ни была разница, в отношении количества и даже качества охватываемых ими объектов, между естественным патриотизмом человеческих и звериных обществ, общее между ними то, что и тот и другой являются инстинктивными, традиционными, привычными, общественными страстями, и что интенсивность того и другого нисколько не зависит от характера их содержания. Напротив того, можно сказать, что чем это содержание менее сложно, чем оно проще, тем сильнее и исключительнее патриотическое чувство, которое служит его проявлением и выражением.

Животное, очевидно, гораздо более привязано к наследственным обычаям общества, к которому оно принадлежит, чем человек. У животного эта патриотическая привязанность фатальна; не будучи в состоянии само освободиться от нее, оно избавляется от нее иногда только под влиянием человека. То же самое и в человеческих обществах; чем менее развита цивилизация, чем менее сложна сама основа социальной жизни, тем сильнее проявляется естественный патриотизм, т. е. инстинктивная привязанность индивидов ко всем материальным, интеллектуальным и моральным привычкам, составляющим обычную, традиционную жизнь отдельной общины, и ненависть их ко всему чуждому, ко всему отличающемуся. Откуда вытекает, что естественный патриотизм обратно пропорционален развитию цивилизации, т. е. торжеству человечности в человеческих обществах.

Никто не будет отрицать, что инстинктивный или естественный патриотизм жалких племен ледовитого пояса, едва затронутых человеческой цивилизацией и сама материальная жизнь чья так бедна, бесконечно сильнее или исключительнее, чем патриотизм, например, француза, англичанина или немца. Немец, англичанин, француз везде могут жить и акклиматизироваться, между тем, как уроженец полярных стран умер бы в скором времени от тоски по родине, если бы его удерживали вдали от нее. И, однако, что может быть более ничтожным, менее человеческим, чем его существование! Это служит лишним доказательством, что интенсивность естественного патриотизма является показателем не

человечности, а звериного состояния.

Наряду с положительным элементом патриотизма, заключающемся в инстинктивной привязанности индивидов к определенному образу существования, свойственному той общине, к которой они принадлежат, существует еще отрицательный элемент, столь же существенный как и первый и неотделимый от него; это равно инстинктивное отвращение ко всему чуждому — отвращение инстинктивное и, следовательно, совершенно звериное; да, действительно, звериное, ибо это отвращение тем энергичнее и непобедимее, чем менее тот, который его испытывает, думал и понимал, чем менее он человек.

В настоящее время это патриотическое отвращение ко всему иностранному встречается только у диких народов; в Европе его можно найти у полудикого населения, которое буржуазная цивилизация не удостоила просветить, хотя она и не забывает его эксплуатировать. В самых больших столичных городах Европы, в самом Париже и особенно в Лондоне есть улицы, предоставленные нищенскому населению, которого никогда не касались лучи просвещения. Достаточно появления на этих улицах иностранца, чтобы толпа несчастных человеческих существ мужчин, женщин и детей, едва одетых и носящих во всей своей внешности следы самой ужасной нищеты и самого глубокого падения, окружила его и осыпала ругательствами, иногда даже побоями, единственно потому, что он иностранец. Разве подобного рода грубый и дикий патриотизм не является самым кричащим отрицанием всего, что называется человечностью?

И, однако есть, весьма просвещенные буржуазные газеты, как например *Journal de Geneve*, которые не чувствуют никакого стыда эксплуатировать столь мало человеческий предрассудок и столь всецело звериную страсть. Я, однако, должен отдать им справедливость и охотно признаю, что, эти газеты эксплуатируют патриотизм, несколько его не разделяя и единственно лишь потому, что им выгодно его эксплуатировать, подобно тому как поступают в настоящее время почти все священники всех религий, проповедующие религиозные нелепости, сами не веря в них и единственно лишь потому, что в интересах привилегированных классов, чтобы народные массы продолжали верить.

Когда газета *Journal de Geneve* не находит уже более аргументов и доказательств, она говорит: эта вещь, эта идея, этот человек нам чужды, и она имеет столь низкое представление о своих соотечественниках, что надеется, что достаточно будет произнести это страшное слово чуждый, чтобы они, позабыв все и здравый смысл, и человечность, и справедливость, стали на ее сторону.

Я сам не женевец, но я слишком уважаю жителей Женевы, чтобы не думать, что *Journal* ошибается на их счет. Они, конечно, не захотят пожертвовать человечностью ради звериного состояния, эксплуатируемого коварством.

Le Progres, No 12, (12 июня 1869 г.) стр. 2—3.

ПАТРИОТИЗМ (продолжение)

Я сказал, что патриотизм, поскольку он инстинктивен или естествен, имел все свои корни в животной жизни, не представляет ничего другого, кроме особой комбинации коллективных привычек: материальных, интеллектуальных и моральных, экономических, политических и социальных, развитых традицией или историей, в данном обществе. Эти привычки, прибавил я еще, могут быть хороши или плохи, так как содержание или объект этого инстинктивного чувства — патриотизма, не имеет никакого влияния на степень его интенсивности. Даже если бы пришлось допустить в этом отношении известную разницу, то она скорее склонялась бы на сторону худых, чем хороших привычек. Ибо — по причине животного происхождения всякого человеческого общества, и в силу той инертности, которая оказывает столь же могучее действие в интеллектуальном и моральном мире, как и в мире материальном,— во всяком обществе, которое еще не вырождается, а напротив, прогрессирует и идет вперед, плохие привычки, имея за собою первенство по времени, вкоренены более глубоко, чем хорошие. Это нам объясняет, почему из общей суммы нынешних общественных привычек, в самых передовых странах цивилизованного мира, по крайней мере девять десятых никуда не годятся.

Пусть не воображают, что я вздумал об'явить войну всеобщему обычаю общества и людей управляться привычками. Как и во многих других вещах, люди в этом лишь фатально повинуются естественному закону, а восставать против естественных законов было бы нелепо. Действие привычек в интеллектуальной и моральной жизни индивидов и обществ подобно действию растительных сил в жизни органической. Как то, так и другое являются условиями существования и реальности. Как добро, так и зло должны, чтобы сделаться реальной вещью, перейти в привычку, как в отдельном человеке, так и в обществе. Все упражнения, которым предаются люди, не имеют другой цели, и самые лучшие вещи не могут укорениться в человеке и сделаться его второй природой иначе, как в силу привычки. Легкомысленно восставать против нее, ибо это фатальная сила, которую не смогли бы уничтожить никакой ум и никакая воля. Но, если просвещенные разумом нашего века и нашим представлением об истинной справедливости, мы серьезно пожелаем сделаться людьми, то нам остается только одно: постоянно направлять силу воли, т. е. привычку хотеть, развитую в нас независимыми от нас обстоятельствами, к искоренению плохих привычек и к насаждению на их место хороших. Чтобы очеловечить целое общество, надо беспощадно уничтожать все причины, все политические, экономические и социальные условия, порождающие в индивидах зло, и заместить их такими условиями, которые бы развили в этих самых индивидах привычку и практику добра.

С точки зрения современного сознания человечности и справедливости, какими, благодаря прошедшему развитию истории, мы их теперь наконец понимаем, патриотизм является привычкой дурной, узкой и злополучной, ибо он является отрицанием человеческого равенства и солидарности. Социальный вопрос, практически выставленный в настоящее время рабочим миром Европы и Америки, и разрешение которого возможно не иначе, как с уничтожением границ Государств, необходимо стремится искоренить эту традиционную привычку из сознания рабочих всех стран. Ниже я покажу, что уже с начала столетия эта привычка была сильно поколеблена в сознании высшей финансовой, торговой и промышленной буржуазии, благодаря удивительному и совершенно международному развитию ее богатств и экономических интересов. Но прежде я должен показать, каким образом, гораздо раньше этой буржуазной революции, инстинктивный, естественный

патриотизм, являющийся по самой природе своей очень узким, очень ограниченным чувством и чисто местной общественной привычкой, потерпел в самом начале истории глубокое изменение, извращение и ослабление, благодаря образованию политических Государств.

В самом деле, патриотизм, поскольку это чисто естественное чувство, т. е. продукт реально солидарной жизни общества, еще не ослабленный или мало ослабленный размышлением или действием экономических и политических интересов, а также религиозных абстракций, такой патриотизм, если и не вполне, то в громадной своей части животный, может обнимать лишь очень ограниченный мир: одно племя, одну общину, одну деревню. В начале истории, как и ныне у диких народов, не было ни наций, ни национальных языков, ни национальных религий, — не было, значит, отечеств в политическом смысле этого слова. Каждое местечко, каждая деревня имела свой собственный язык, своего бога, своего священника или колдуна. Это было ничто иное, как размножившаяся, расширившаяся семья, которая, ведя войну со всеми, отрицала своим существованием все остальное человечество. Таков естественный патриотизм в своей энергичной и наивной неподкрашенности.

Мы встречаем еще остатки этого патриотизма даже в некоторых из самых цивилизованных стран Европы, например, в Италии, особенно в южных областях итальянского полуострова, где строение почвы, горы и море создают преграды между долинами, общинами и городами, отделяют их, изолируют и делают почти совершенно чуждыми друг другу. Прудон заметил с большой основательностью в своей брошюре об итальянском единстве, что это единство является покуда еще только идеей и чисто буржуазной, но нисколько не народной страстью; что, по крайней мере, деревенское население осталось и поныне по отношению к этому единству в большинстве случаев совершенно равнодушно, а я прибавлю, даже враждебно, ибо это единство с одной стороны вступает в противоречие с местными патриотизмами, с другой стороны ничего до сих пор не принесло населению, кроме безжалостной эксплуатации, гнета и разорения.

Не видим ли мы часто даже в Швейцарии, особенно в отсталых кантонах, борьбу местного патриотизма против кантонального, а последнего против национального патриотизма, имеющего своим объектом всю республиканскую конфедерацию в ее целом?

В заключение, резюмируя все сказанное, я повторяю, что патриотизм, как естественное чувство, будучи по своей сущности чувством местным, является серьезным препятствием к образованию Государств, и что, следовательно, эти последние, а с ними и цивилизация, не могли основаться иначе как уничтожив, если и не вполне, то в значительной мере, эту животную страсть.

Le Progres, No 14 (10 июня 1869 г.), стр. 2 и 3.

ПАТРИОТИЗМ (Продолжение)

Рассмотрев патриотизм с естественной точки зрения и показав, что с этой точки зрения, патриотизм является, с одной стороны, чувством собственно звериным или животным, ибо

он свойственен всем животным породам, и что с другой стороны, он — явление существенно местное, ибо он может обнять лишь очень ограниченное пространство мира, где лишенный цивилизации человек проводит свою жизнь,— я перехожу теперь к анализу исключительно человеческого патриотизма, патриотизма экономического, политического и религиозного.

Это факт, констатированный натуралистами и теперь уже сделавшийся аксиомой, что количество всякого населения всегда соответствует количеству средств к пропитанию, находящихся в обитаемой этим населением стране. Население увеличивается всякий раз, как эти средства встречаются в большем количестве; оно уменьшается с уменьшением этого количества. Когда данное население с'едает все запасы страны, оно переселяется. Но это переселение, разрывая все его старые привычки, все повседневные усвоенные жизненные обычаи, и принуждая искать, без всякого знания, без всякой мысли, инстинктивно и совершенно наудачу, средства пропитания в совершенно незнакомых странах, всегда сопровождается лишениями и страшными мучениями. Большая часть переселяющегося животного населения умирает с голоду, и часто служит пищей остающимся в живых; только меньшей части удастся акклиматизироваться и разыскать новые средства к пропитанию в новой стране.

Потом возникает война, война между породами, которые, чтобы питаться, должны пожирать друг друга. Рассматриваемый с этой точки зрения, животный мир является ничем иным, как кровавой гекатомбой, ужасной и плачевной трагедией, написанной голодом.

Те, кто признает существование Бога-творца, и не подозревают, какой они делают ему милый комплимент выставляя его творцом этого мира. Как? Всемогущий, всемудрый, всеблагий Бог не мог прийти ни к чему другому, как к созданию подобного мира, подобного страшилища?

Правда, теологи имеют превосходный аргумент для объяснения этого возмутительного противоречия. Мир был создан совершенным, говорят они; в нем царила вначале абсолютная гармония, до того времени, как человек согрешил, и разгневанный на него Бог проклял человека и мир.

Это об'яснение тем более поучительно, что оно полно нелепостей, а, как известно, в нелепом то и состоит сила теологов. Для них, чем какая нибудь вещь более нелепа, невозможна, тем она истиннее. Вся религия ничто другое, как обожествление нелепого.

Совершенный Бог сотворил совершенный мир, но вот это совершенство поскальзывается и навлекает на себя проклятие творца; после этого абсолютное совершенство делается абсолютным несовершенством. Каким образом совершенство могло сделаться несовершенством? На это ответят, что так случилось именно потому, что мир, хотя и совершенный при сотворении, тем не менее не был абсолютным совершенством, ибо абсолютен один Бог, Высшее Совершенство. Мир был совершенен лишь относительно и в сравнении с тем, каков он теперь.

Но в таком случае, зачем употреблять слово совершенство, слово, не применимое ни к чему относительному? Разве совершенство может быть не абсолютным? Скажите лучше, что Бог

сотворил мир несовершенным, но лучшим, чем он есть в настоящее время. Но если он был лишь относительно лучшим, если он не был совершенным, то он не представлял той гармонии и абсолютного мира, рассказами о которых господа теологи нам протрещали уши. И в таком случае, мы спросим у них: разве не должен творец, до вашим собственным словам, быть оцениваем по своему творению, как работник по совершенной им работе? Творец несовершенной вещи очевидно несовершенен; раз мир был создан несовершенным, то Бог, его творец, очевидно несовершенен. Ибо факт сотворения несовершенного мира может быть объяснен лишь его немудростью, или немощностью, или же злобой.

Но, возразят мне, мир был совершенен, но только менее совершенен, чем Бог. На это я отвечу, что когда дело идет о совершенстве, то нельзя говорить о большем или меньшем; совершенство полно, всецело, абсолютно, или же оно вовсе не существует. Стало быть, если мир был менее совершенен, чем Бог, мир был несовершенным; откуда вытекает, что Бог, творец несовершенного мира, был сам несовершенен, что он остается несовершенным, что он никогда не был Богом, что Бог не существует.

Чтобы спасти существование Бога, господа теологи будут принуждены согласиться, что созданный им мир был при сотворении совершенным. Но тогда я им поставлю два маленьких вопроса. Во-первых, если мир был совершенным, то каким образом два совершенства могли существовать вне друг друга? Совершенство может быть лишь едино; оно не терпит двойственности, ибо в двойственности одно ограничивается другим и становится таким образом несовершенным. Значит, если мир был совершенен, то не было Бога ни превыше его, ни даже вне его, сам мир был Богом. Второй вопрос: Если мир был совершенен, то каким образом он мог ниспасть? Хорошее совершенство, могущее измениться и исчезнуть! И если признать, что совершенство может ниспасть, то значит и Бог может ниспасть! Другими словами, Бог, конечно, существовал в верующем воображении людей, но человеческий разум, все более и более торжествующий в истории, обрекает его на уничтожение.

Наконец, как он странен, этот Бог Христиан! Он сотворил человека таким образом, чтобы тот мог, чтобы тот должен был согрешить и ниспасть. Бог, имея между своими бесконечными атрибутами всеведение, не мог не знать, творя человека, что тот согрешит; а раз Бог это знал, человек должен был пасть: иначе он дерзко уличил бы во лжи божественное всеведение. Тогда, зачем говорят о человеческой свободе? Здесь была фатальность! Повинуясь этому фатальному влечению,— самый простодушный отец семейства и тот на месте Бога мог бы это предвидеть,— человек грешит: и вот Бог — совершенство вдруг впадает в ужасный гнев, столь же смешной, как и отвратительный. Бог проклинает не только тех, кто преступил его закон, но и все их потомство, хотя оно в то время еще не существовало, и следовательно, было совершенно невинно в грехе наших прародителей. Не удовольствовавшись этой возмутительной несправедливостью, он проклинает еще ни в чем невинный, гармоничный мир и делает его вместилищем всех ужасов и преступлений, местом постоянной бойни. Потом, рабски связанный собственным гневом и проклятием, изреченным им против мира и людей, против своего собственного творения, что делает Бог, вспомнив, наконец, что он Бог любви? Ему недостаточно, что он наполнил ради своего гнева кровью целый мир; этот кровавый Бог проливает еще кровь своего единственного Сына; он жертвует им под предлогом примирения мира с своим

божеским Величием! И если бы еще это удалось! Но нет, природа и человечество остаются столь же раздираемыми и окровавленными, как и до этого чудовищного искупления. Отсюда с очевидностью вытекает, что христианский Бог, подобно всем предшествовавшим ему Богам, является Богом столь же бессильным, как и жестоким, столь же нелепым, как и злым.

И такие то нелепости хотят навязать нашей свободе, нашему разуму! Посредством подобных чудовищностей претендуют воспитать, очеловечить людей! Когда же господа теологи возымеют достаточно смелости, чтобы открыто отказаться не только от разума, но и от человечности? Недостаточно сказать с Тертуллианом: "*Credo, quia absurdum*" — верю в то, что нелепо; пусть они постараются еще навязать нам, если могут, христианство с помощью кнута, как это делает всероссийский царь, с помощью костров, как Кальвин, с помощью Святой Инквизиции, как добрые католики, посредством насилий, пыток и казней, которые так бы желали еще применить священники всех религий. Пусть они испробуют все эти прекрасные средства, но пусть не льстят себя надеждой восторжествовать над нами каким-нибудь другим способом.

Что касается до нас, представим раз навсегда все эти божественные нелепости, и ужасы тем, кто безумно верит, что еще долго можно будет во имя их, эксплуатировать народ и рабочие массы. Возвратимся к нашему чисто человеческому разуму и будем всегда помнить, что человеческое просвещение, единственное могущее нас просветить, освободить, сделать достойными и счастливыми, является не в начале, но по отношению того времени, в котором мы живем, в конце истории и что человек в своем историческом развитии, изшел из животности, чтобы достичь мало по малу человечности. Не будем же никогда смотреть вспять, но всегда вперед, ибо впереди наше солнце и наше спасение. И если позволительно, если даже полезно иногда оглянуться назад, то только для того, чтобы констатировать, чем мы были и чем не должны уже более быть, что мы делали и чего не должны уже более делать.

Естественный мир является всегдашней ареной не прекращающейся борьбы, борьбы за жизнь. Нам нечего спрашивать себя, почему это так. Не мы это сделали, мы нашли это, рождаясь в жизнь. Это наша естественная исходная точка, и мы в этом несколько не ответственны. Нам достаточно знать, что так было и, вероятно, всегда будет. Гармония устанавливается в этом мире через борьбу, через торжество одних, через поражение и чаще всего смерть других. Рост и развитие пород ограничены их собственным голодом и аппетитами других пород, т. е. страданием и смертью. Мы не говорим с христианами, что земной шар долина плача, но мы должны согласиться, что земля наша совсем не такая нежная мать, как иные рассказывают, и что живые существа должны иметь не мало энергии, чтобы жить на ней. В естественном мире сильные выживают, а слабые гибнут, и первые выживают только потому, что вторые гибнут.

Возможно ли, чтобы этот фатальный закон естественной жизни, был столь же неизбежен в мире человеческом и социальном?

Le Progres, 17 (21 августа. 1869 г.) стр. 2—4.

ПАТРИОТИЗМ (Продолжение)

Присуждены ли люди самой своей природой к пожиранию друг друга, чтобы жить, подобно тому, как это делают животные других пород?

Увы! в колыбели человеческой цивилизации мы находим людоедство; в то же время и впоследствии всеуничтожающие войны, войны рас и народов: войны завоевательные, войны равновесия, войны политические и войны религиозные, войны во имя "великих идей", подобные той, которую ведет Франция, управляемая своим теперешним императором {Наполеон III.} и войны патриотические, во имя великого национального единства, подобные тем, которые задумывают ныне, с одной стороны, пангерманский министр в Берлине, и с другой стороны, панславистский царь в Петербурге.

И в основании всего этого, под всеми лицемерными фразами, которыми пользуются, чтобы придать себе внешний вид человечности и правоты, что мы находим? Всегда один и тот же экономический вопрос: стремление одних жить и благоденствовать на счет других. Все остальное лишь одна болтовня. Невежды, простецы и глупцы даются на эту удочку, но ловкие люди, управляющие судьбами государств, знают очень хорошо, что в основании всех войн, есть только один повод: грабеж, завоевание чужого богатства и порабощение чужого труда.

Такова жестокая и грубая действительность, которую Боги всех религий, Боги войны всегда благословляли; начиная с Егивы, бога евреев, вечного Отца нашего Господа Иисуса Христа, который приказал своему избранному народу избить всех жителей Обетованной земли — и кончая католическим Богом, представленным папами, которые в вознаграждение за избиение язычников, магометан и еретиков, подарили землю этих несчастных их счастливым убийцам, еще не смывшим с себя их кровь. Для жертв — ад; для палачей — имущество и земли убитых,— такова цель самых священных войн, религиозных войн.

Очевидно, что, по крайней мере, до сего времени, человечество не было исключением из общего закона животного мира, который приговаривает все живые существа пожирать друг друга, чтобы жить. Только социализм, как я постараюсь это показать в следующих статьях, только социализм, ставя на место политической, юридической и божеской справедливости, справедливость человеческую, замещая патриотизм всемирной солидарностью людей, а экономическую конкуренцию международной организацией общества, всецело основанного на труде, может положить конец войне, этому грубому проявлению человеческой животности.

Но до тех пор пока он не восторжествует на земле тщетно будут протестовать все буржуазные конгрессы мира и свободы, тщетно будут председательствовать на них все Викторы Гюго всего света; люди будут продолжать раздирать друг друга, как дикие животные.

Доказано, что человеческая история, подобно истории всех других животных пород, началась с войны. Война эта, не имевшая и не имеющая другой цели, кроме завоевания

средств к жизни, имела различные фазы развития, параллельные различным фазам цивилизации, т. е. развития человеческих потребностей и средств к их удовлетворению.

Вначале человек, это всеядное животное, жил подобно другим животным, плодами и овощами, охотой и рыбной ловлей. В продолжении многих веков, без сомнения, человек охотился и ловил рыбу так, как это делают и ныне животные, т. е. без помощи других орудий, кроме тех, которыми его одарила природа. В первый раз, как он воспользовался самым грубым орудием, простой палкой или камнем, он совершил акт мышления и выказал себя, разумеется, нисколько этого не подозревая, животным мыслящим — человеком. Ибо даже самое простое орудие должно соответствовать намеченной цели и, следовательно, пользование им предполагает известную сообразительность ума, которая существенно отличает человека — животного от всех других земных животных. Благодаря этой способности мыслить, обдумывать, изобретать, человек усовершенствовал, правда очень медленно, в продолжении многих веков, свои орудия, и превратился в охотника или вооруженного дикого зверя.

Достигши этой первой ступени цивилизации, маленькие группы людей, естественно, могли питаться с большей легкостью, убивая живые существа, не исключая людей, тоже служивших им на пищу, чем животные, лишенные орудий охоты и войны. А так как размножение животных пород всегда прямо пропорционально количеству средств пропитания, то очевидно, число людей должно было увеличиваться в большей пропорции, чем число животных других пород, и, наконец, должен был наступить момент, когда невозделанная земля не была уже в состоянии прокормить всех людей.

Если бы {(Продолжение). Le Progres, No 20 (2 октября 1869 г.), стр. 3.} человеческий разум не обладал способностью прогресса; если бы он не развивался все больше и больше, с одной стороны, опираясь на традицию, сохраняющую для будущих поколений знания, добытые прошлыми поколениями, а с другой стороны, распространяясь, благодаря дару слова, неотделимого от дара мысли, если бы он не был одарен неограниченной способностью изобретать все новые способы для защиты человеческого существования против всех враждебных ему сил природы,— эта недостаточность природных средств к существованию явилась бы непреодолимой гранью для размножения человеческой породы.

Но благодаря этой драгоценной способности, позволяющей ему познавать, размышлять и понимать, человек может перешагнуть чрез эту естественную грань, останавливающую развитие всех других животных пород. Когда естественные источники истощились, он создал искусственные. Пользуясь не своей физической силой, но превосходством своего ума, он начал не просто убивать животных, чтобы их немедленно пожрать, а подчинять их, приручать, и как бы воспитывать, чтобы сделать пригодными для своих целей. И таким образом, на протяжении веков еще группы охотников превращаются в группы пастухов.

Этот новый источник пропитания, естественно, еще умножил человеческую породу, что привело ее к необходимости воздать новые средства к поддержанию жизни. Когда эксплуатация животных стала недостаточной, люди стали эксплуатировать землю. Таким образом, бродячие и кочевые народы обратились на протяжении многих других веков в народы земледельческие.

В этот то период истории и устанавливается, собственно говоря, рабовладельчество. Люди, бывшие самими что ни на есть дикими зверями, начали с пожирания убитых ими или взятых в плен неприятелей. Но, когда они начали понимать всю выгоду заставляя животных служить себе и эксплуатировать их, а не убивать сейчас же, то они должны были скоро понять, какую пользу они могли извлечь из услуг человека, самого умного из земных животных. Победенный враг перестал быть пожираем, но становился рабом, принужденным исполнять работу, необходимую для пропитания своего хозяина.

Труд пастушеских народов столь легок и прост, что для него почти не требуется работы рабов. Поэтому, мы видим, что у кочующих и пастушеских народов, число рабов очень ограничено, чтоб не сказать почти равно нулю. Другое дело у народов оседлых и земледельческих. Земледелие требует настойчивого, ежедневного и тягостного труда. Свободный человек лесов и степей, охотник или скотовод, берется за земледелие с большим отвращением. Поэтому, мы видим и в настоящее время, например, у диких народов Америки, что самые тягостные и отвратительные домашние работы возлагаются на существо сравнительно слабое, на женщину. Мужчины не знают других занятий, кроме охоты и войны, которые даже и в нашей цивилизации считаются самыми благородными занятиями, и, презирая всякий другой труд, лениво лежат, куря свои трубки, между тем как их несчастные жены, эти естественные рабыни грубого человека, изнемогают под тяжестью своего ежедневного труда.

Шаг вперед в цивилизации, и работа жены возлагается на раба. Вьючное животное, одаренное умом, принужденное нести всю тягость физической работы, дает своему господину возможность досуга и интеллектуального и морального развития.

Le Progres, No 16 (18 сентября 1869 г.), стр. 4.

Версия #3

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 7 мая 2025 17:57:55

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 5 июня 2025 07:56:56